



Кукуша

КРОВЬ И ЖЕМЧУГ

Кукуша
Кровь и жемчуг

«Автор»

2026

Кукуша

Кровь и жемчуг / Кукуша — «Автор», 2026

Это роман о подвиге, который не прогремел на поле боя, но изменил ход истории. 1854 год. Крымская война уносит тысячи жизней не столько от пуль, сколько от грязи и бездушия. В осаждённом Севастополе царит хаос, раненые умирают от инфекций, а военная бюрократия бессильна перед лицом смерти. На фоне этой катастрофы три выдающихся человека бросают вызов системе. Великая княгиня Елена Павловна закладывает фамильные бриллианты, чтобы купить бинты и повозки. Гениальный хирург Николай Пирогов разрабатывает первую в мире систему военно-полевой сортировки — пять категорий, отделяющих надежду от безнадёжности. И тридцать две женщины, «сестры милосердия», идут в самое пекло, становясь не просто сиделками, а воинами, превращающими милосердие в оружие против смерти. В центре — судьба Екатерины Бакуниной, прошедшей путь от вдовы до легендарной начальницы общины. Это история о том, как порядок рождается из крови, а вера в человека способна победить даже самый страшный ад.

© Кукуша, 2026

© Автор, 2026

Кукуша

Кровь и жемчуг

ПРОЛОГ

Голос из будущего

Севастополь, 2024 год. Музей обороны города.

Зал был полутемным и тихим — только тусклый свет софитов падал на витрины, в которых лежали реликвии, и где-то вдалеке слышались приглушенные шаги зрителя. Здесь, в этом зале, время застыло. Оно остановилось в середине XIX века, когда город горел, земля дрожала от взрывов, а люди умирали тысячами.

Но жизнь не умирает. Она продолжается в памяти.

В углу зала, в небольшой нише, стоял старый деревянный стул с вытертой обивкой. На нем никто не сидел — он был экспонатом, напоминанием о том, что когда-то здесь, в этом самом месте, сидела женщина и писала письма на фронт. Письма, полные боли, страха и надежды.

Рядом со стулом, на пьедестале, лежала раскрытая книга — дневник, написанный дрожащим, старческим почерком. Буквы выцвели, но слова все еще были видны. Слова, которые должны были быть услышаны.

"Я знаю, что умираю. Я чувствую это в каждой клетке своего тела. Но я не боюсь. Потому что я знаю: мы сделали всё, что могли. Мы создали систему, которая будет жить вечно. Мы спасли тысячи жизней. Мы изменили мир..."

Голос, который читал эти строки, принадлежал молодой женщине — гиду музея, которая стояла у витрины и смотрела на дневник с благоговением. Она читала его каждый день, но каждый раз находила в нем что-то новое. Что-то, что заставляло ее сердце биться быстрее.

— Система, которая будет жить вечно, — прошептала она. — Как они могли придумать это в таком аду?

Она перевела взгляд на стену, где висели фотографии — старые, потертые, с застывшими лицами. Тридцать две женщины смотрели с них на нее, и казалось, что они знают что-то, чего не знают современные люди. Что-то, что было забыто, потеряно, утеряно в веках.

— Кто вы были? — спросила она, хотя знала все их имена. — Как вам удалось сделать то, что не удалось никому?

Ответа не было. Только тишина, софиты и пыльца времени, которая танцевала в лучах света.

Но где-то в другом зале, в глубине музея, звучал голос — старый, записанный на пленку еще в прошлом веке. Голос женщины, которая помнила всё. Которая была там. Которая видела это своими глазами.

— Мы не знали, что делаем историю, — говорила эта женщина. — Мы просто хотели помочь. Мы просто не могли остаться в стороне. Мы видели боль, и мы пошли на нее. Как могли мы поступить иначе?

Голос затих, и в зале снова воцарилась тишина.

Но слова остались. Они висели в воздухе, как невидимые нити, связывающие прошлое и настоящее, смерть и жизнь, отчаяние и надежду.

В этот момент в музей вошла пожилая женщина. Она была невысокой, худой, с седыми волосами, собранными в пучок, и живыми глазами, которые, казалось, видели больше, чем могли видеть обычные люди. Она держала в руках старую, потертую шкатулку.

— Здравствуйте, — сказала она гиду. — Я ищу ваш архив.

— Здравствуйте, — ответила гид, улыбаясь. — Чем я могу вам помочь?

— Я принесла кое-что, — сказала женщина, протягивая шкатулку. — Это принадлежало моей прабабушке. Она была сестрой милосердия в Крымскую войну. Ее звали... — она замолчала на секунду, собираясь с мыслями, — ее звали Екатерина Бакунина.

Гид замерла. Она знала это имя. Она читала о ней. Она видела ее фотографию на стене. Она знала, что это имя — одно из самых важных в истории города.

— Как... как вы нашли это? — спросила гид, принимая шкатулку из рук женщины.

— Это хранилось в нашей семье, — сказала женщина. — Мы передавали ее из поколения в поколение. Моя бабушка говорила, что там — самое важное. Что там — ключ ко всему. Но она никогда не открывала ее. Она говорила, что время еще не пришло.

Гид открыла шкатулку. Внутри лежали старые письма, сложенные в стопку, пожелтевшие от времени, и маленький сверток, обернутый в бархат.

Она развернула сверток и замерла.

Внутри лежал бриллиант — чистый, прозрачный, переливающийся в свете софитов. Он был не очень большим, но в нем было что-то, что заставляло сердце биться быстрее. Что-то, что было больше, чем просто драгоценность.

— Это... это тот самый бриллиант, — прошептала гид. — Тот, который Елена Павловна заложила... тот, который она подарила Бакуниной...

— Да, — сказала женщина. — Мы хранили его сто пятьдесят лет. Мы не знали, что с ним делать. Мы не знали, кому его передать. Но моя бабушка сказала перед смертью: «Придет время, и ты отнесешь его в музей. Придет время, и ты расскажешь эту историю. Придет время, и люди вспомнят».

Она замолчала и посмотрела на бриллиант, который переливался в руках гида.

— Мне кажется, это время пришло.

Гид смотрела на камень и чувствовала, как по телу пробегает дрожь. Она знала эту историю. Она рассказывала ее сотни раз туристам, школьникам, ветеранам. Но теперь она держала в руках свидетельство этой истории — живое, осязаемое, настоящее.

— Спасибо, — сказала она. — Спасибо, что принесли это. Я не знаю, как выразить вам свою благодарность.

— Не надо, — сказала женщина. — Просто расскажите эту историю. Расскажите ее так, чтобы ее услышали. Чтобы ее запомнили. Чтобы ее передали дальше.

Она повернулась и пошла к выходу, но на пороге остановилась и обернулась.

— Они были не просто сестрами милосердия, — сказала она. — Они были воинами. Воинами, которые сражались не с врагами, а со смертью. И они победили. Помните это.

Она ушла, а гид осталась стоять с бриллиантом в руках, глядя на дверь, которая закрылась за старой женщиной.

В ту ночь, когда музей опустел и свет погас, гид сидела в своем кабинете и читала письма из шкатулки. Они были написаны дрожащим, но твердым почерком — почерком человека, который видел больше, чем кто-либо мог вынести, но не сломался.

"Дорогая Катя, — писала Бакунина в одном из писем, — мы держимся. Сортировка работает. Система работает. Мы спасаем людей каждый день. Но я устала. Так устала, что иногда, кажется, что я уже мертва. Но я не могу остановиться. Потому что если я остановлюсь, они умрут. А я не хочу, чтобы они умирали..."

Гид читала эти строки и чувствовала, как внутри нее поднимается волна эмоций. Она знала, что это история. История, которая должна быть рассказана. История, которую нельзя забыть.

Она взяла бриллиант и поднесла его к свету. Камень переливался, как слеза, как надежда, как символ веры.

— Я расскажу, — сказала она. — Я расскажу вашу историю. Я расскажу всему миру, что вы сделали.

Она взяла перо и начала писать.

"Было время, когда мир тонул в крови. Когда города горели, люди умирали, а надежда, казалось, исчезла навсегда. Это время называлось Крымской войной. Это время называлось Севастополем.

Но в этом аду родилось чудо. Чудо, которое изменило мир. Чудо, которое называется системой. Чудо, которое называется милосердием, поставленным на рельсы.

Это случилось благодаря трем людям. Великой княгине, которая заложила бриллианты, чтобы купить бинты. Гениальному хирургу, который превратил хаос в порядок. И тридцати двум женщинам, которые рискнули всем, чтобы спасти других.

Их история не забыта. Она живет в каждом госпитале, в каждой больнице, в каждой операционной по всему миру. Она живет в сердцах тех, кто помнит.

Эта книга — о них. О тех, кто не боялся смерти. О тех, кто верил в жизнь. О тех, кто создал систему, которая спасла миллионы.

Это — история милосердия.

Это — история силы.

Это — история веры".

Гид отложила перо и посмотрела на бриллиант, который лежал на столе. Он переливался в тусклом свете лампы, как звезда, как надежда, как символ всего, что было и всего, что будет.

— Мы не забудем, — прошептала она. — Мы никогда не забудем.

На следующее утро в музее открылась новая выставка. Она называлась «Символ веры: история Крестовоздвиженской общины». В центре выставки стояла витрина, в которой лежали два бриллианта — подарок Елены Павловны и реликвия, переданная потомками Бакуниной. Рядом с ними — письма, дневники, фотографии.

Тысячи людей пришли на эту выставку. Они стояли у витрин и смотрели на экспонаты с благоговением. Они читали письма и плакали. Они вспоминали и благодарили.

В книге отзывов кто-то написал: «Спасибо, что напомнили нам о том, что милосердие — это сила. Спасибо, что научили нас верить. Спасибо, что показали нам, что жизнь побеждает смерть».

И в этом была суть всего, что произошло. Суть всего, что было сделано. Суть всего, что будет.

Милосердие, поставленное на рельсы, становится самым грозным оружием против смерти.

И это оружие никогда не будет забыто.

КНИГА ПЕРВАЯ. КРОВЬ И ЖЕМЧУГ

Глава 1. Аукцион милосердия

В Зимнем дворце пахло помадой и страхом.

Страх был скрыт под ворохами шелка, замаскирован веерными вздохами и припудрен так же густо, как румяные щеки фрейлин. Императорский Петербург, ноябрь 1854 года, жил по законам изящной лжи: о войне говорили громко, как о далекой грозе, из которой непременно выйдут победителями, а о смерти — шепотом, как о чем-то неприличном.

Здесь, под высокими сводами, где каждая колонна помнила вздохи трех поколений императоров, принято было делать вид, что войны — это атласные карты, которые разворачивают перед генералами, а солдаты — это фигурки на этих картах, блестящие и чистые. Никто не хотел знать, что фигурки пахнут. Что у них есть кишки, зубы и кровь, смешанная с черной крымской землей.

Но Елена Павловна знала.

Она сидела в кресле с прямой спинкой — в том самом кресле, в котором когда-то любил отдыхать ее покойный муж, великий князь Михаил Павлович. Дерево уже стерлось от времени, обивка потерялась, но княгиня не позволяла менять ее. Она хотела чувствовать под пальцами

эту шершавую ткань, которая помнила прикосновения человека, ушедшего на пятнадцать лет раньше. Человека, который не дожил до этой войны. Может быть, к счастью.

За ее спиной, в бальном зале, где люстры весили больше, чем годовой бюджет пехотного полка, музыка играла менуэт. Скрипки тянули свои протяжные, сладкие ноты, а пары кружились в танце, и дамы улыбались так широко, что их улыбки казались нарисованными на картонных масках.

Елена Павловна смотрела на свое отражение в темном оконном стекле. Ей было пятьдесят восемь лет. Время забрало у нее волосы — они поседели, но она не красила их, потому что считала это лицемерием. Время забрало у нее мягкость — лицо стало острым, скулы проступили сквозь кожу, а глаза ввалились так глубоко, что в них можно было спрятать целую армию тайн. За ее плечами была смерть мужа. Смерть дочери, которая угадала в чахотке, как тонкая свеча. Смерть отца. Смерть брата. Она пережила всех, и теперь ей казалось, что смерть просто ждет своего часа, чтобы закончить работу. Но пока час не пробил, она будет делать то, что должна.

Она слышала, как за ее спиной перешептываются.

— Она что, серьезно? Заложить фамильные бриллианты? — шипела чья-то княгиня в розовом платье, похожая на переспелый пион, у которого вот-вот опадут лепестки. Княгиня фон дер Остен, кажется, или кто-то из этого бесконечного выводка немецких родственников, которые приехали в Россию искать счастья, и нашли его в виде придворных должностей.

— С ума сошла старуха, — отвечал ей барон фон Штольц, человек с бакенбардами, похожими на крысиные хвосты. Он всегда выглядел так, будто только что понюхал что-то тухлое. — Немка есть немка. У них нет души, одна математика. Жемчуга считать умеют, а страдать — нет. Жемчуг — это же фамильное! Ее свекровь, императрица Мария Федоровна, в этих камнях на коронацию ходила! А она хочет продать их за какие-то повозки?

— За бинты, — поправила его какая-то тощая девица, которая явно мечтала оказаться на месте Елены Павловны. — Она сказала, на бинты и хирургические пилы. Представляете, пилы! Пилы! Мне кажется, у нее помутился рассудок.

Барон хихикнул, и в его хихиканье было что-то звериное, трусливое.

— В Петербурге у всех помутился рассудок, — сказал он. — Только вчера этот выскочка Пирогов требовал от военного ведомства две тысячи комплектов белья. Две тысячи! Вы представляете, сколько стоит две тысячи комплектов? Это же целое состояние! А зачем? Чтобы солдаты в чистом лежали? Солдат должен умирать быстро, чтобы не мучиться, вот мое мнение.

Елена Павловна услышала это. Она всегда слышала всё. Для этого не нужно было иметь уши, достаточно было иметь глаза и память на лица. Она запомнила барона. И его слова. Она не была мстительной женщиной, но у нее была железная память, и когда-нибудь, может быть, она напомнит барону Штольцу, что слова имеют вес. И что за слова иногда платят дороже, чем за жемчуг.

Она встала. Кресло скрипнуло, и этот скрип был похож на стон раненого. Золотая парча ее платья вздохнула тяжелым вздохом — платье было сшито еще при жизни мужа, и Елена Павловна не заказывала новых, потому что зачем? Кому нужна была ее красота? Мертвецам не нужны красивые жены.

Музыка, игравшая менуэт, осеклась на полуслове. Скрипки замерли, точно их струны перерезали одним взмахом. Виолончель издала последний, умирающий звук, и в зале повисла тишина. Двести семьдесят гостей обернулись к ней.

Семьдесят две женщины в пышных платьях, с цветами и драгоценностями, в перчатках до локтей и с веерами в руках, которые больше не нужны были в ноябрьском Петербурге, но без которых не мыслилась светская жизнь. Сто девяносто восемь мужчин в мундирах — генералы, полковники, штабные крысы, старые графы, молодые поручики, которые еще не нюхали пороха, но уже рассуждали о стратегии так громко, будто Наполеон пришел к ним на ужин.

Елена Павловна не любила громких речей. Она вообще считала, что слово, сказанное громко, теряет половину своего веса. Слова должны падать на пол, как жемчуг, — тяжело, звонко и безвозвратно. Поэтому она подошла к столу, на котором были разложены веера и перчатки, и медленно, с холодным спокойствием, сняла с шеи колье.

Семь бриллиантов — семь слез, ограненных богом и ювелиром. Двадцать четыре жемчужины — величиной с голубиное яйцо, розоватые, словно нагретые дыханием южных морей. Каждая жемчужина стоила целое состояние. Каждая жемчужина была подарена когда-то ее мужем. И каждая жемчужина сейчас лежала на деревянной поверхности стола, пахнущего полировкой и чужими духами.

Княгиня положила украшение на стол, и в зале стало тихо настолько, что было слышно, как в камине трещит березовое полено и где-то далеко, в кухонных помещениях, звякает посуда. Потом она сняла серьги. Потом — браслет, который цеплялся за рукав и не хотел сниматься, словно просил остаться. Потом — брошь, приколотую к корсажу, с аметистом величиной с грецкий орех.

Каждый жест был медленным и отчетливым, как у хирурга, вскрывающего гноящуюся рану. Она не торопилась, и в этой неторопливости было больше драмы, чем в любом театральном спектакле. За ней наблюдали, затаив дыхание. Кто-то с ужасом. Кто-то с восхищением. Кто-то — как на казнь.

— Ваше императорское высочество, что вы делаете? — пискнула княгиня фон дер Остен, и голос ее дрожал так сильно, что жемчуг у нее на шее зазвенел в такт. — Это же фамильные драгоценности! Это реликвии!

— Это камни, — сказала Елена Павловна, и голос ее был тих, как шелест бинта. — Они не помнят, чьи они. Жемчуг не помнит, на чьей шее он висел. Камни не имеют памяти. Они просто лежат, собирают пыль и ждут, пока их продадут. Я продаю. Я закладываю эти камни, чтобы купить повозки. И бинты. И хирургические пилы.

В зале ахнули. Слово «пила» на великосветском балу звучало кощунственнее, чем самое грязное ругательство из казармы. Оно звучало как приговор. Как напоминание о том, что там, на юге, есть не только красивые мундиры и ордена, но и плоть — человеческая, слабая, гниющая плоть.

— Но, ваше высочество, — выступил вперед старый граф Шереметев, человек, чей род был старше династии Романовых, чей нос был так велик, что на нем можно было вешать ордена, а не на мундир, — война — дело мужчин. Женщины должны молиться. Это ваше поле боя. Колени и свечи. Господь услышит ваши молитвы быстрее, чем вы услышите стоны раненых.

Елена Павловна посмотрела на него, и граф сделал шаг назад, ударившись спиной о мраморную колонну. В ее взгляде была та пустота, которая бывает только у людей, переживших слишком много потерь, чтобы бояться осуждения живых. Она не боялась ни бога, ни графа, ни самого императора. Она уже потеряла всё, что можно было потерять, кроме собственной чести.

— Скажите это солдату, у которого кишки выпадают на землю, — сказала она, и голос ее стал мягче, но от этого мягче — страшнее. — Скажите ему, что пока он умирает, где-то в Петербурге женщина молится за него. Увидите, как он обрадуется. Увидите, как его глаза засветятся от божественного света, когда он будет лежать в грязи и смотреть, как его собственная кровь пропитывает землю.

Она подняла с колье самый крупный бриллиант — тот, что висел в центре, ось всей конструкции, камень чистой воды, величиной с перепелиное яйцо. Она сжала его в пальцах и надела на палец. Камень тускло сверкнул при свете люстр, и Елена Павловна посмотрела на него с выражением, которое невозможно было прочитать. Была ли это любовь? Ненависть? Воспоминание о покойном муже, который подарил ей этот камень в день их свадьбы?

— Этот, — она подняла руку, и камень заиграл гранями, разбрасывая по залу крошечные радуги, — я оставляю. Потому что он будет напоминать мне. Он будет вдохновлять меня. Он

будет смотреть на меня каждый раз, когда я буду сомневаться, права ли я, посылая женщин на смерть. А остальное — уходит.

За ее спиной, словно вынырнув из воздуха, появился казначей двора с кожаной сумкой. Маленький, сутулый человек, похожий на гриб, которого перекормили влагой. Он всегда появлялся именно тогда, когда нужно было убрать деньги или драгоценности, и делал это так тихо, что никто не замечал его присутствия до тех пор, пока он не начинал греметь монетами.

Женщину, которую при дворе называли «железной княгиней» и одновременно «безумной старухой», Елена Павловна собственноручно сгребла драгоценности в сумку. Жемчуг падал в темную глубину кожи, издавая тот особый звук, который бывает только у сталкивающихся друг с другом камней. Звук был похож на дробь пулемета. Или на капли крови, падающие на кафельный пол операционной. Елена Павловна не знала тогда, что этот звук она будет слышать еще много ночей. Во сне. Наяву. В тот момент, когда будет подписывать устав общины.

— Там, — сказала она, закрывая сумку и кивая головой в сторону юго-запада, туда, где за тысячи верст дымился осажденный Севастополь, — там сейчас не хватает всего. Хирургов. Лекарств. Повозок. Чистого белья. Времени. Зато в избытке кровь. Грязь. Смерть. И мужчины, которые не знают, как распорядиться этим богатством.

Она сделала паузу, и в этой паузе было столько же напряжения, сколько в затишье перед артиллерийским обстрелом.

Она перевела взгляд на молодого поручика, который стоял у окна и смотрел на нее с выражением смесью ужаса и восторга. Поручик был молод, бледен, и его руки дрожали, хотя он старался спрятать дрожь за спиной. Елена Павловна видела таких. Они все хотели на войну, пока не видели войны. Они хотели орденов, славы, повышения по службе. Они не хотели видеть, как их товарищи умирают от гангрены. Они хотели возвращаться домой героями, но не хотели платить за это цену.

— Ваше высочество, — снова подал голос старый граф Шереметев, и в голосе его послышался металл настоящего, дворцового страха, — вы ведь не собираетесь туда? В Севастополь? Это же почти неприлично. Женщина вашего положения, вдова великого князя... вы не можете рисковать своей жизнью.

— Я не собираюсь туда, — сказала Елена Павловна, и в голосе ее послышалось усталое раздражение. — Я буду здесь, в Петербурге. И я буду ждать вестей. Я буду сидеть в этом кресле, смотреть в это окно и ждать, когда придет письмо. Но вместо меня туда поедут те, кто не боится запаха крови. Те, кто готов умереть не за деньги, не за чины, не за ордена, а за идею. За то, что человек — это не фигурка на карте, а живое существо, которое можно спасти.

Она выдержала паузу. В зале слышалось только тяжелое дыхание двухсот семидесяти человек, которые наконец поняли, что этот вечер — не благотворительный бал. Это был ультиматум. Это был манифест. Это был вызов всему, что считалось приличным, правильным, дворянским.

— Я учреждаю Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия, — сказала княгиня, и голос ее стал громче, но не потерял своей ледяной ясности. — Тридцать две женщины поедут в Крым. И они будут делать то, что не делала до сих пор ни одна женщина в России. Они будут спасать. Не молитвой — руками. Не словами — бинтами. Не слезами — делом.

— Женщины? — вскочил с места молодой поручик, и голос его сорвался на фальцет. — На передовой? Это же... это же...

— Это же что? — перебила его княгиня, и голос ее стал тверже стали, тверже бриллианта, тверже смерти. — Вы хотите сказать «не женское дело»? Так я вам скажу, поручик. Смерти все равно, чьи руки ее отталкивают. Мужские или женские. Смерть не разбирает фамилий, чинов и юбок. Смерть голодна. А мы будем ее кормить. Мы будем кормить ее спасенными. По одному, по два, по десять.

Она оглядела зал. Глаза ее в последнее время стали плохо видеть дальние предметы, но она прекрасно видела лица. Они были бледны. Некоторые — серы. Некоторые — зелены от страха. Одна из фрейлин, та самая, которая пицала про жемчуг, сейчас стояла с открытым ртом, похожая на выброшенную на берег рыбу. Барон Штольц прятался за колонной, и его крысиные бакенбарды дрожали от страха, что его слова могут быть услышаны.

— Вы говорите о приличиях, — продолжала Елена Павловна, и голос ее набирал силу, как крещенский мороз. — А я вам скажу, что приличие — это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Мы воюем с турками, с французами, с англичанами. Мы воюем с целым миром. И мы умираем. Умирают наши солдаты, потому что у нас нет хирургов. Умирают наши офицеры, потому что у нас нет лекарств. Умирают наши мальчики, потому что у нас есть только молитвы и ни одной пары рук, готовых заменить им бинт.

— Но женщины не умеют, — подал голос генерал, старый, седой, с орденом на шее, который он носил с гордостью, хотя получил его не за подвиги, а за выслугу лет. — Женщины не обучены. Они не знают анатомию. Они не знают, как зашить рану. Они будут мешать, а не помогать.

Елена Павловна посмотрела на генерала с той же пустотой, и генерал попытался выдержать ее взгляд, но не смог — отвел глаза, уставился в пол, где отражались люстры, разбитые на тысячи осколков.

— Генерал, — сказала она тихо, — вы думаете, что хирургия — это сложная наука? Вы думаете, что зашить рану сложнее, чем вышить вензель на платке? Вы думаете, что перевязать ногу сложнее, чем запеленать младенца? Женщины не умеют, говорите вы. Но они умеют рожать. Они умеют кормить. Они умеют вытирать слезы. И они умеют видеть кровь без обморока, потому что каждый месяц у них своя маленькая война. И они выигрывают ее, потому что они — женщины.

Она замолчала. Тишина была такой плотной, что ее можно было резать ножом.

И только в одном углу, у колонны из малахита — прекрасного зеленого камня, который на самом деле был всего лишь красивым минералом, но в этом дворце все было прекрасным и ничего не было настоящим, — стоял человек, которого она знала лично. Высокий, худой, в потертом сюртуке, который был вычищен так старательно, что на локтях виднелись протертые нитки. Человек, который приехал в Петербург всего на три дня — чтобы выбить у военного ведомства деньги на медицинские инструменты. Он уже понял, что денег не будет. Военное ведомство сказала ему: «Война требует пуль, а не бинтов. Пуль, а не повозок. Пуль, а не людей».

Николай Пирогов.

Он смотрел на нее не как придворный. Не как мужчина, оценивающий женщину. Не как подданный, оценивающий княгиню. Он смотрел на нее как инженер, который увидел, наконец, рычаг, способный сдвинуть гору. Как хирург, который увидел, наконец, инструмент, способный остановить кровотечение. Как математик, который увидел, наконец, формулу, способную превратить хаос в порядок.

Он не аплодировал. Он не кивал. Он не делал тех глупых, бессмысленных жестов, которые делали все остальные, чтобы показать свою лояльность. Он просто смотрел в упор, и в глазах его горел тот холодный, бешеный, расчетливый огонь, который Елена Павловна знала только у двух категорий людей: у гениев и у безумцев.

Пирогов был и тем, и другим одновременно.

Когда бал закончился (а он закончился быстро, потому что танцевать после такого заявления было так же неуместно, как петь романсы на панихиде), Елена Павловна прошла в свои апартаменты. Она шла по длинным коридорам, и ее шаги отдавались эхом, как звук метронома. Тик-так. Тик-так. Время уходит. Жизнь уходит. А она все еще здесь.

Она миновала портреты своих предков, которые смотрели на нее с высоты своих позолоченных рам. Глаза их были пустыми, но Елена Павловна привыкла к их присутствию. Иногда, по ночам, когда она не могла уснуть, она разговаривала с ними. Спрашивала совета. И ей казалось, что они отвечают. Может быть, это было безумие. Может быть, это была мудрость. Кто знает, где проходит граница между ними?

Она вошла в свою маленькую гостиную — комнату, которую никто, кроме нее, не видел. Здесь пахло сухими травами, которые она собирала сама, и воском, которым она запечатывала письма. Здесь не было золота. Не было мрамора. Не было роскоши. Были книги, бумаги, чернильница и железная кровать, на которой она спала уже двадцать лет.

На столике — низеньком, с выщербленной ножкой — лежали бумаги. Устав общины. Она сама писала его ночами, когда дворец затихал, и даже мыши переставали скрестись в стенах. Она переписывала его семь раз, потому что каждое слово должно было быть точным. Каждое слово должно было быть весомым. Каждое слово должно было быть железным.

Она сняла перчатки. Руки ее, тонкие, с выступающими венами, дрожали. Но не от холода. И не от страха. От усталости. От той глубокой, человеческой усталости, когда кажется, что ты больше не можешь сделать ни одного шага, но ты все равно делаешь его, потому что за спиной никого нет.

— Ваше высочество, — раздался голос за спиной.

Она обернулась. В дверях стоял Пирогов. Хирург не ждал приглашения, не просил аудиенции. Он просто вошел, потому что, как позже напишут биографы, у него не было времени на этикет. А война, как он любил повторять, — это травматическая эпидемия. А эпидемия не ждет, пока ей нальют чаю.

— Что вам угодно? — спросила княгиня, хотя знала ответ. Она знала, что этот человек не пришел бы просто так. Он приходил только за делом. За результатом. За жизнью.

— Вы сказали тридцать две, — произнес Пирогов, и голос его был сухим, как медицинский журнал. — Тридцать две женщины. Это хорошо. Это больше, чем я смел надеяться. Но я должен предупредить вас, ваше высочество.

Он шагнул вперед, и Елена Павловна впервые заметила, как устал этот человек. Впалые щеки, синева под глазами, которая могла быть только от хронического недосыпа. Руки — большие, с длинными, сильными пальцами — безвольно висели вдоль тела. Руки, которые резали живую плоть быстрее, чем мясник режет тушу, и при этом с такой аккуратностью, что пациенты плакали от удивления, а не от боли. Руки, которые держали скальпель так же уверенно, как священник держит крест.

— Предупредите о чем? — спросила княгиня.

— О том, что это не игра, — сказал Пирогов. — Это не благотворительность. Не светский жест. Не мода. Это война. Женщины, которые поедут, увидят такое, от чего у них побелеют волосы. Они будут спать в одной комнате с трупами. Они будут мыть полы от крови. Они будут смотреть, как умирают молодые мальчики, и не смогут ничего сделать. Они будут плакать. Они будут молиться. Они будут проклинать меня, вас и Господа Бога. И они будут просить, чтобы их отправили домой.

— Тридцать две, — повторила Елена Павловна, и в голосе ее не было сомнений. — Я знаю каждую из них. Я выбирала их не по красоте, не по происхождению, не по богатству. Я выбирала их по глазам.

Она подошла к столу, где лежал список, написанный ее рукой. Она взяла его и протянула Пирогову.

— Вот они. Екатерина Бакунина. Дочь генерала. Тридцати двух лет. У нее умер муж. Она хочет умереть, но понимает, что умереть — это трусость. Поэтому она поедет, и будет работать, пока не упадет. Екатерина Хитрово. Двадцати семи. Жена офицера, который уже в Севастополе. Она не знает, жив ли он. Она едет, чтобы быть ближе к нему, но останется там,

даже если он умрет. Елизавета Карцева. Двадцати пяти. Сирота. У нее нет никого. Она едет, потому что ей некуда идти. И еще двадцать девять таких же. Сломанных. Разбитых. Одиноких. Или тех, у кого есть силы, чтобы смотреть на боль без слез.

Пирогов читал список, и лицо его не меняло выражения. Он был хирургом. Он привык видеть имена, за которыми стояли тела, а за телами — смерть. Но сейчас он видел нечто другое. Он видел имена, за которыми стояли женщины, готовые стать инструментами его системы.

— Они не обучены, — сказал он. — Они не знают анатомию. Они не знают, как отличить вену от артерии. Они не знают, как наложить повязку. Это займет время.

— У нас нет времени, — сказала княгиня. — У нас есть три дня. Обучите их за три дня. Вы можете.

Пирогов посмотрел на нее с той же смесью восхищения и ужаса, с которой смотрел бы на пациента, который решил сам себе отрезать гангренозную ногу.

— За три дня, — повторил он медленно, — я могу научить их трем вещам: не терять сознание при виде крови, не паниковать при виде смерти и выполнять приказы без вопросов. Если они научатся этому, они спасут людей. Если нет — они умрут.

Он подошел к столу, взял перо, обмакнул его в чернильницу и на полях устава начал писать быстро, косо, почти неразборчиво. Почерк его был похож на рецепты — те же бешеные крючки, те же недописанные буквы.

— Что это? — спросила княгиня.

— Пять категорий, — сказал Пирогов, не отрываясь от бумаги. — Я придумал их, пока ехал из Москвы. Мне было скучно в карете. Три дня. Семьсот верст. Двадцать три остановки. Я не спал, потому что думал о том, что происходит в Севастополе.

Он написал:

1. Безнадежные. Умрут в ближайшие часы. Оставить в покое. Дать священника. Не тратить время и ресурсы.

2. Тяжелейшие. Спасти можно, но только немедленно. На стол первой очереди. Не ждать ни секунды.

3. Тяжелые, но стабильные. Есть два-три часа. Перевязать, ждать очереди. Не терять надежду, но не торопиться.

4. Транспортабельные. Наложить повязку и отправить в тыл. Не занимать место. Не откладывать эвакуацию.

5. Легкораненые. Перевязать на месте. Отпустить в часть. Они нужны там, а не здесь.

Он закончил и положил перо. Лист бумаги был исписан так плотно, что почерк напоминал карту сражений — линии, стрелки, круги, непонятные пометки на полях. Но главное было понятно. Пять категорий. Пять путей. Пять решений.

— У вас будет тридцать две женщины, — сказал Пирогов. — И я разделю их на пять групп. Перевязочные будут ассистировать при операциях. Аптекарши — следить за лекарствами и дозами. Хозяйки — за чистотой, бельем и питанием. Транспортные — сопровождать раненых в тыл. И те, кто будут делать самую грязную работу. Тифозные казармы.

— Тиф, — повторила Елена Павловна. Слово было холодным и склизким, как сырая земля.

— Да, — сказал Пирогов. — Тиф, холера, гнилостная гангрена. Они убьют больше солдат, чем пули. Ваши женщины, ваше высочество, — он поднял на нее глаза, и в них плескалась та же пустота, что была у княгини, — они умрут. Не все, но многие. Я как хирург обязан вам это сказать. Это не подвиг. Это работа. Грязная, тяжелая, кровавая работа. И платить за нее будут жизнями. Если вы не готовы к этому, остановитесь сейчас.

Елена Павловна молчала. Она смотрела на свои руки, на тонкую кожу, сквозь которую просвечивали синие вены, и думала о том, что впервые в жизни кто-то говорит с ней не как

с княгиней, а как с равной. Человек, который не боится правды. Человек, который не боится смерти. Человек, который не боится сказать ей в глаза, что ее проект — это убийство.

— Сколько? — спросила она.

— Что «сколько»?

— Сколько ваших пяти категорий выживет, если я дам вам бриллианты? Если я дам вам женщин, чистые бинты и мое имя? Если я дам вам всё, что у меня есть?

Пирогов нахмурился. Он посмотрел на потолок, на лепнину, изображающую амуров и розы, потом перевел взгляд на пустой камин и, наконец, на княгиню. Он никогда не гадал. Он вычислял.

— Если будет система, — сказал он медленно, как будто калькулировал каждое слово, как будто каждое слово стоило ему часа жизни, — если будет порядок, сортировка и дисциплина, мы спасем каждого второго. Из тех, кто поступает живым. Мы спасем каждого второго, ваше высочество. Без системы — умирает семь из десяти.

— Каждый второй? — переспросила княгиня, и голос ее дрогнул впервые за этот вечер. — Это значит, каждый второй из ста будет жить, даже если рана в живот? Даже если пуля разорвала печень? Даже если осколок вошел в легкое?

— Каждый второй — это победа, — сказал Пирогов жестко. — Вы, ваше высочество, привыкли мыслить категориями абсолюта: все или ничего. А медицина, война и жизнь — это математика. Пять категорий. Тридцать две женщины. Двести тысяч рублей. Это уравнение. Мы решим его в Севастополе.

Он встал, взял свой поношенный сюртук, и уже в дверях обернулся. Его глаза сверкнули в полумраке, и Елена Павловна впервые увидела в них не только усталость, но и огонь. Тот огонь, который заставлял его делать операции по десять за два часа. Тот огонь, который заставлял его бороться с бюрократией, когда все остальные сдавались. Тот огонь, который сделал его гением.

— Но я должен вас спросить, ваше высочество, — сказал он, и голос его стал мягче, почти человеческим. — Вы уверены? Женщины... они не солдаты. У них нет подготовки. Они не умеют видеть кровь без обморока. Они будут плакать.

Елена Павловна посмотрела на него с той ледяной усмешкой, которая заставила отступить графа, барона и всех остальных придворных крыс.

— Плакать, доктор Пирогов, — сказала она, — это еще не значит проиграть. Пусть плачут. Пусть утирают слезы бинтами. Но пусть спасают. Я даю вам не тридцать две женщины. Я даю вам тридцать две руки, тридцать две пары глаз и тридцать два сердца, которые еще не знают, что война — это логистика.

Она протянула ему лист с его же категориями, и пальцы их почти соприкоснулись.

— Вы научите их вашей математике, доктор. А они научат вас тому, что такое милосердие. Идите. Готовьтесь. Через три дня они уезжают. Я закладываю бриллианты завтра утром. У меня нет больше денег. У меня нет больше времени. У меня есть только они.

Пирогов кивнул, повернулся и вышел. Его шаги затихли в пустом коридоре, и Елена Павловна осталась одна. Она подошла к окну. За стеклом падал первый снег — мелкий, сухой, колючий, как песок. Он падал на асфальт, на крыши, на пустынные улицы Петербурга, и белил город, делая его чистым. Чистым, как бинты, которые она купит на деньги от бриллиантов.

Она посмотрела на юго-запад. Там, за тысячами верст, в крымской грязи, под бомбами, умирали люди. И никто не знал, что через три месяца там появятся тридцать две женщины, которые изменят историю военной медицины. Которые докажут, что милосердие — это не слабость, а сила. Которые докажут, что женщина на войне — это не ошибка, а спасение.

Княгиня сняла с пальца оставленный бриллиант, покрутила его, глядя, как свет люстры дробится на сотни осколков. Камень сверкал, как слеза, как звезда, как надежда.

— Каждый второй, — прошептала она.

Камень сверкнул в последний раз, и Елена Павловна убрала его в шкатулку. Шкатулка была старой, с потертой кожей и сломанным замком. Но она хранила в себе самые дорогие вещи — письма мужа, локон дочери и теперь — этот камень.

Завтра она отдаст его ростовщику. Завтра она обменяет его на жизнь. Завтра она начнет войну, которую никто не ожидал. Войну женщин против смерти.

Она подошла к столу, села и взяла перо. На бумаге лежал список. Тридцать два имени. Тридцать две судьбы. Тридцать две женщины, которые согласились на безумие.

Елена Павловна обмакнула перо в чернильницу и начала писать письмо императору. Рука ее не дрожала.

Она писала: "Государь. Сестры, которые идут на передовую, не вернутся прежними. Многие не вернутся вообще. Но те, кто вернется, изменят Россию. Ибо милосердие, поставленное на рельсы, становится самым грозным оружием против смерти. Прошу вашего благословения. Ваша покорная слуга и вдова вашего брата, Елена Павловна".

Она поставила подпись, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза.

Снег падал за окном. Тишина была такой глубокой, что казалось, весь мир замер в ожидании.

И только где-то далеко, на юге, слышался грохот пушек.

Глава 2. Тридцать две тени

Третий день ноября в Петербурге был серым, как больничная простыня.

Снег, начавшийся в ночь бала, не прекращался. Он падал на город тяжелыми, мокрыми хлопьями, облеплял шпили, карнизы и погоны городских, превращая улицы в однообразное белое месиво, в котором тонули кареты, лошади и человеческие голоса. Но в доме на Фонтанке, где Елена Павловна устроила временное пристанище для будущих сестер милосердия, снег казался не белым, а серым — пропыленным, как бинты, которые еще не успели отбелить.

В большой комнате, некогда служившей гостиной, стояли тридцать две женщины. Тридцать две тени, как назвала их про себя княгиня, когда вошла в дверь и остановилась на пороге. Тридцать две женщины разного возраста, разного происхождения, разной веры, разной боли. Они стояли ровными рядами — не по приказу, не по строевой подготовке, а потому что каждая из них уже знала, что такое дисциплина. Дисциплина жизни, которая научила их не жаловаться.

Елена Павловна смотрела на них и видела не лица, а истории.

В первом ряду стояла Екатерина Бакунина. Ей было тридцать два года, хотя выглядела она старше — иссиня-черные волосы с ранней сединой у висков, глубокие морщины вокруг губ, будто она долго сжимала их, чтобы не кричать. Она была дочерью генерала, племянницей губернатора, но ни титулы, ни связи не могли вернуть ей мужа, который умер в прошлом году от холеры, оставив ее одну с тремя детьми на руках. Детей она отдала на попечение свекрови и приехала в Петербург, когда услышала о наборе в общину.

— Зачем вы здесь, Екатерина? — спросила ее княгиня при первой встрече. — У вас дети. У вас дом. У вас имя.

— Муж умер у меня на руках, ваше высочество, — ответила Бакунина, и голос ее был ровным, как стекло. — Я смотрела, как он задыхается, и ничего не могла сделать. Я держала его за руку, пока она не стала холодной. Я не хочу больше держать чью-то руку, чувствуя, как она холодеет. Я хочу держать ее, чувствуя, как она согревается.

Рядом с ней, чуть позади, стояла Екатерина Хитрово — двадцать семь лет, жена офицера, который ушел на фронт и не писал уже два месяца. Она была маленькой, почти хрупкой, с бледным лицом и большими темными глазами, в которых застыл вопрос, на который она боялась получить ответ. Она приехала из провинции, бросив дом и прислугу, продав фамильные серебряные ложки, чтобы купить билет до Петербурга.

— Я еду не за геройством, — сказала она, когда княгиня спросила ее о причинах. — Я еду за ним. Я хочу знать. Жив он или мертв. Если жив — я буду рядом. Если мертв — я заберу его тело. И буду работать. Потому что там будут другие женщины, которые тоже ждут.

Елизавета Карцева стояла в середине третьего ряда. Двадцать пять лет, сирота, без роду, без племени, без денег. Она была одной из тех женщин, которых дворянское общество называло "бесприданницами" — ни состояния, ни связей, ни надежды на замужество. Она работала гувернанткой в богатых домах, пока хозяин одного из них не попытался зайти в ее спальню ночью. Она ушла, потеряла место и оказалась на улице. Объявление о наборе в Крестовоздвиженскую общину увидела случайно — наклеенное на фонарном столбе, сырое от дождя.

— Я не умею вышивать, — сказала она княгине. — Я не умею петь. Я не умею танцевать. Я умею только работать. И я умею не плакать, даже когда больно.

Елена Павловна перевела взгляд дальше. Там стояли мещанки и купеческие дочери, монахини и вдовы, женщины с обветренными руками и женщины с тонкими пальцами, привыкшими к фортепиано, а не к бинтам. Были здесь и совсем простые — дочери мелких чиновников, которые согласились поехать, потому что дома их ждала нищета, а на войне — хоть какая-то надежда. Были и дворянки, которые бросили вызов свету, потому что свет уже бросил их.

Одна из них, Анна Тучкова, тридцати пяти лет, была вдовой генерала, убитого под Силистрией. Она пришла в черном платье, без украшений, и лицо ее было таким же черным, как траур. Она не говорила ни слова, но Елена Павловна знала ее историю. Муж Тучковой был ранен, истекал кровью, а рядом не было врача — все были заняты с теми, кто стонал громче. Генерал умер от потери крови, потому что никто не услышал его тихого дыхания.

— Я еду, — сказала Тучкова, когда ее спросили, — чтобы больше ни один мужчина не умер от того, что его не услышали.

И таких было тридцать две. Тридцать две женщины, которые пришли в эту серую комнату, пахнущую сыростью и краской (стены недавно белили, но известь еще не высохла, и по стенам ползли влажные разводы), чтобы добровольно отправиться в ад. Они не знали, что их ждет. Они не знали, увидят ли они снова свои дома. Они не знали даже, хватит ли у них сил не сломаться.

Но они пришли.

Елена Павловна прошла вдоль рядов, вглядываясь в каждое лицо. Она не улыбалась — улыбки были бы неуместны. Она не целовала их в лоб — это было бы ложью. Она просто смотрела. И они смотрели на нее.

— Вы знаете, куда идете? — спросила она, остановившись в центре комнаты. Голос ее был тихим, но в тишине комнаты он звучал как колокол.

— Знаем, ваше высочество, — ответили несколько голосов хором, но нестройно, как молитва в чужой церкви.

— Вы знаете, что там умирают? — продолжала княгиня. — Не от пуль. От грязи. От отсутствия чистого белья. От того, что рану перевязывают грязными руками. От того, что нет лекарств. От того, что есть только хаос, кровь и крики.

Она сделала паузу, давая словам осесть в сознании каждой из них.

— Вы знаете, что вы там будете делать? — спросила она. — Вы будете мыть полы, на которых лежат раненые. Вы будете менять бинты, пропитанные гноем. Вы будете держать руки тем, кто умирает. Вы будете умирать сами — от тифа, от холеры, от усталости, от того, что ваш организм не выдержит того, что видят ваши глаза. Вы готовы?

В комнате повисла тишина. Елена Павловна ждала. Она знала, что сейчас решается всё. Если кто-то из них дрогнет сейчас, она не будет винить их. Она сама дрожала по ночам, когда писала устав, представляя, что ждет этих женщин в Севастополе.

Но никто не дрогнул.

Первой сделала шаг вперед Бакунина. Она не поднимала руки, не просила слова. Она просто шагнула, и этот шаг был громче любого крика.

— Ваше высочество, — сказала она, и голос ее звучал твердо, — мы не знаем, что такое война. Мы не знаем, что такое ампутация. Мы не знаем, как отличить артерию от вены. Но мы знаем, что такое боль. Мы знаем, что такое одиночество. Мы знаем, что такое страх. Мы едем не потому, что мы храбрые. Мы едем потому, что мы не можем остаться.

— Мы не можем остаться, — повторила Хитрово, и голос ее дрогнул, но она сдержалась. — Я не могу сидеть дома, гадать, жив ли мой муж, и вышивать цветочки. Я не могу.

— Я не могу, — сказала Карцева. — Я уже потеряла всё. Я не хочу терять надежду.

— Я не могу, — сказала Тучкова. — Я уже потеряла его. Я не хочу, чтобы другие женщины теряли своих мужей.

И так, по одному, они начали говорить. Сначала неуверенно, потом все громче, все увереннее. Слова переплетались, смешивались, сливались в один голос — голос тридцати двух женщин, которые решили, что тишина дома хуже, чем грохот пушек.

Елена Павловна слушала их и чувствовала, как внутри нее разливается то странное, почти болезненное тепло, которое она испытывала только в самые важные моменты своей жизни. Моменты, когда она знала: она делает правильно.

Она подняла руку, и голоса стихли.

— Завтра вы поедете в Симферополь, — сказала она. — А оттуда — в Севастополь. Вас будет сопровождать доктор Пирогов. Вы будете слушаться его, как слушались бы меня. Потому что он знает, что делать. Он знает, как спасти. Он знает, как выстраивать порядок из хаоса.

Она посмотрела на дверь, словно ждала, что кто-то войдет.

— А сейчас, — сказала она, — я хочу, чтобы вы познакомились с человеком, который будет вашим наставником, вашим командиром и вашим судьей. Он скажет вам то, что я не могу сказать. Потому что он видел войну. А я — только ее отражение в письмах.

Она открыла дверь, и в комнату вошел Николай Пирогов.

Он выглядел иначе, чем на балу. Вместо потертого сюртука на нем была простая военная шинель, перетянутая ремнем. Он не носил оружия — его оружием были руки, которые он держал за спиной, сцепив пальцы в замок. Глаза его были красными от бессонницы — он не спал уже вторые сутки, готовя медицинские инструменты и сортируя лекарства, которые удалось выбить у военного ведомства.

Он остановился в центре комнаты, и тридцать две женщины уставились на него. Они видели перед собой не красавца — лицо его было грубым, с крупными чертами, с ястребиным носом и глубокими складками вокруг рта. Они видели не молодого человека — ему было сорок четыре года, но выглядел он на все пятьдесят. Они видели человека, который не умел улыбаться, но умел делать то, чего не умел никто.

— Здравствуйте, — сказал он, и голос его был сухим, как медицинский реферат. — Меня зовут Николай Иванович Пирогов. Я хирург. Я буду вашим начальником в Севастополе. Я не буду вам лгать. Я не буду вас успокаивать. Я не буду говорить, что всё будет хорошо. Потому что это не будет хорошо. Это будет плохо. Очень плохо.

Он замолчал, давая своим словам осесть. Женщины смотрели на него, и их лица не меняли выражения. Они уже слышали правду от княгини. Они были готовы.

— Но я научу вас, — продолжал Пирогов, — как сделать так, чтобы было не так плохо, как могло бы быть. Я научу вас, как не давать людям умирать. Я научу вас, как видеть рану и знать, что с ней делать. Я научу вас, как не падать в обморок при виде крови. Я научу вас, как не сходить с ума от криков.

Он подошел к столу, на котором лежали медицинские инструменты, и взял в руки скальпель. Лезвие блеснуло в тусклом свете зимнего дня, и некоторые женщины вздрогнули — инстинктивно, на уровне тела, которое помнило, что такое боль.

— Это скальпель, — сказал Пирогов. — Им я буду резать людей. Вы будете мне помогать. Вы будете подавать инструменты. Вы будете держать руки пациента. Вы будете накладывать швы. Вы будете делать то, что делают только мужчины. И вы будете делать это так хорошо, что мужчины будут вам завидовать.

Он положил скальпель обратно и повернулся к женщинам.

— Но прежде чем я научу вас резать, — сказал он, — я научу вас считать.

Он снял с полки доску, покрытую мелом, и начал писать цифры.

— Вот Севастополь, — сказал он, рисуя круг. — Вокруг него стоят враги. Внутри — наши. Каждый день в госпиталь поступает от пятидесяти до двухсот раненых. Больше, чем мы можем принять. На каждого хирурга приходится тридцать, сорок, пятьдесят человек. Мы не можем оперировать всех. Мы должны выбирать.

Он повернулся к ним, и в глазах его был тот холодный огонь, который Елена Павловна видела на балу.

— Я разделю всех раненых на пять категорий, — сказал он, рисуя на доске цифры 1, 2, 3, 4, 5. — Первая — безнадежные. Они умрут в ближайшие часы. Мы не будем тратить на них время. Дадим им морфий, дадим священника и оставим умирать спокойно. Жестоко? Да. Но иначе умрут те, кого можно спасти.

Он провел линию под цифрой 1.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.